НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Он бродил по Новой Голландии, где когда-то знал девушку по имени Лена Карамышева. В три часа он должен был встретиться с Лилей и теперь, придя слишком рано, был отдан ожиданию и жалости от этого своего раннего прихода, а уйти домой было нельзя, не по силам ему было уйти, заявиться раньше тоже нельзя, да и не к чему. И от знания своего, мол, не придет раньше, не придет же, и от этого «не к чему» ему становилось легче. В его голове рождались неведомые токи, что-то совсем уж дальнее, дрожащее, предчувствие какое-то, слабое очень, насчет воли его и возможности выбирать, и ему казалось, что это чувство не порыв там какой-то, так, дуновение, — просто ему так хотелось — не додумывать до конца, до самой уж поверхности сознания, а тем более до дела доводить, до действия, как говорится. Для него — Саши Ломова — важно было другое, — что он как бы не свободен, занят, свидание и в то же время, одновременно с этим он внутренне, незаметно, про себя, независим. Он, конечно, пойдет, но он ведь может и не пойти. Так ему казалось, что он может, так он думал. Не вслух, конечно, не уточняя, а так думал, тихо. И не сделав этого, а придя к ней задолго и ожидая в коридоре, пока она его впустит, — ведь он пришел раньше, и она не готова, и он сам виноват, — он мог сказать себе, что вовсе, совсем, ну нисколечко не думал, что может уйти, что даже следует не приходить, что не все же ему одному... Увы, такое было только умственно, отдаленно мерещилось и казалось, но очень пленяло и возвышало его.

В данный момент, этап, так сказать, его жизни, он мог думать именно так, в эти полчаса, что отделяли его от Лили, и чтобы набраться храбрости и доказать себе свою независимость, он стал думать о Лене Карамышевой и о Лене Никитиной, о Свете из Театрального, о Наташе из Техноложки и о той Наташе, которая была в Батуми и Цихис-Дзири и с которой он пил вино в буфете маленькой железнодорожной станции, где открытая дверь вела в дождь, падавший на рельсы, и совсем рядом, но внизу, было море, фиолетовое сквозь дождь и теплое вино в стакане, а потом, когда дождь кончился, они спустились вниз по неровным изломанным ступеням, разделись и по колючей гальке пошли к морю.

Ломов забыл о Лиле, ему так казалось, хотелось, чтобы казалось, что вот же, забыл, не думает, не нужно ему это, вот так.

В этой первой половине дня, не то чтобы совсем первой, а скорее, точнее говоря, уже переходящей к поздним часам дневного времени, ну, скажем, в этой осенней середине солнечного дня с какой-то там невероятной прохладой и долгой видимостью Новая Голландия, подгоняемая несильным городским ветром, уплывала, плыла, качалась.

Оставаясь в прошлом времени своей жизни, которое, оказывается, еще жило и было в нем, он боязливо прикасался к собственным мыслям, не доканчивая, так, как бы понарошку, случайно — будто бы и не он это вовсе, а кто-то, кто — неизвестно. И Лиля удалялась, ему казалось, он хотел — на расстоянии, а потом сказать спокойно и незаинтересованно, очень ему надо, так прямо и сказать: «Лиля, подумаешь, что мы не видали, будто уж так и нужно это, знаем, мол, мы: уж мы-то знаем».

Конечно, вовсе не обязательно, чтобы Голландия и к тому же Новая, и лучше от этого вовсе не станет, но сквернее тоже, потому что Голландия — ведь это чистенькое такое, сложилось давно, крепенькое, без надрыва. Уж это точно, но все равно не обязательно вовсе прийти раньше, ждать, а иначе можно разве? Или придумалось, или вовсе не то, так.

Плыл красный темный кирпич стен — справа, пустые воскресные дома — слева, ветер прыгал откуда-то сверху, подталкивал воду, чтобы текла. Дул посередке, между.

Можно сказать, да, конечно, именно так можно — тепла было много, хватало, но все снаружи, внешнее, а чего-то нет, не то что-то было, как бы точнее выразиться — утечка непонятная происходила, оттого и холод. Можно так сказать, и это уж точно будет, без ошибки. Именно.

Почему эти воспоминания залезли ему в голову, что стало началом их появления. Вот так, вдруг, пожалуйте, — и все, здесь, в этом, в этих мыслях и в том, что они не уходили, и главное, не давали утешения, все, во всем этом было что-то гаденькое, им сознаваемое, трусливенькое и жалкое что-то было. Он боялся додумать до конца, ибо тогда уже полный был бы крах и конец. Он хотел, чтоб ушли они — эти мысли — и цеплялся за них. Ему все еще казалось, что вот можно, можно же вот так думать, а если выйдет, выгорит, получится, то ведь можно и иначе тогда, иначе, по-другому думать, хорошо. Но где-то — пусть глубоко, но уже как бы заранее смиряясь, признавая факт, наличие, Ломов понимал, что проиграл, и проиграл не потому что не то, что, мол, так и так, такие дела, не то чтобы совсем, но...

в общем сам понимаешь и т. д., а вот из-за этого. Раз такой, из-за мыслей этих. И еще понимал, что вот хотел он быть правым всегда, и то, что он думал, всегда была правда, ибо думал он плохо и здесь трудно ошибаться, а теперь из-за этой вечной своей правоты, — он боялся, что его надуют, его — ну уж нет, и действительно нет, — а теперь, сейчас, в тот единственный раз, когда надо было просто забыть и довериться, в единственный настоящий раз, его раз, тот его случай, которого он ждал так долго и который — он знал — не повторится, теперь все, что думал и делал раньше, не ошибаясь, губило его и нельзя было что-то поделать с этим, что-то другое, иначе. Гаденькое, и даже не то чтобы уж дрянь какая, а так, изморось, было не снаружи — внутри, не случайно, а совсем по-настоящему и с давнего времени его жизни. Он уходил, он гнал от себя мысль эту, следующую, но что он мог сделать? И тогда герой наш стал утверждать, что имеет право, уж такая жизнь и опыт жизни. Мол, он, конечно, мог быть лучше, бесспорно, но он не виноват, нет какой-то его личной вины, что он такой, нет.

Вокруг уже были следы неясной, чужой ему жизни, дымилась труба справа за каналом, еще три просто стояли в отдалении, бездельничали. Денек был так себе, с солнцем, ветерок, сверху голубенькое, так, осенний — все по-воскресному.

Но, возможно, то, что он думал или казалось, что думал, будто думал, а на самом деле скорее вовсе и не думал, а просто выдумывал, и не в том смысле или точнее сказать, значении, что, мол, этого не было, не могло иметь места, так сказать, иметься в наличии, но выдуманность присутствовала, вернее, он подозревал, —

и имел на это право, — и подозрение в том, что выдуманное, как-то совсем его расклеило, лишило опоры, и внутри вслед за этим сразу произошла какая-то сумятица, проще говоря, путаница, а через мгновение — то самое, которое последовало за катастрофой, — стало пыльно, пусто и только.

То есть, ну если уж так прямо говорить, дело не в Лиле, просто приятно выдумывать, мол, Лиля, страдаю, — и в это страданьице голову свою сунуть, хорошо, уютно, боль есть, смысл появился, страдаю и все тут. А если до конца, то чего ж скрывать, дело было не только в этом и, может быть, даже вовсе не в этом, в другом, которое в свою очередь тоже скорее всего было совсем не то.

Но как, как так можно, вот так, разве можно, чтоб уж совсем ничего, чтоб в тебе все, в самой-то твоей глубине последней, похерено было без остатка, хоть бы маленький кусочек остался, зернышко, с чего начать, а то все, даже движеньице какое крошечное души измызгано, а ведь будто получался, все думал — стану, случусь, да не вышло, отчего? — Кто знает, от жизни вокруг оторвался, перечитал может, то не понял, там пропустил, здесь на испуг взяли, а точно то, вот эту самую причину одним словечком выразить, ту самую, все нынешнее от которой и идет, пожалуй что и нельзя, а то ведь и исправился, ее задавил бы, другой стал, так нет же, нет.

Думай, Ломов, думай, а вдруг получится, а как еще не совсем поздно, осталось времечко, чуточку времени, совсем немножечко, так спеши, Ломов, авось пронесет, да к самой-то истине, к корню самому, корешочку.

Все происходившее сейчас с Ломовым и непреодолимое точно по своему качеству и местоположению было

сложнее и несло в себе гораздо больше неправды. Ломов и раньше, много давнее теперешнего дня, еще задолго до того, как он оказался в Новой Голландии, гораздо раньше, чем даже ему в голову могла прийти мысль о ней и возникла необходимость здесь быть, он уже догадывался, но новое заключалось для него, новое сейчас было в том, что догадка перешла в уверенность, а уверенность в знание. И это знание о самом себе, такое неожиданное и неурочное, именно оно и повергло Ломова в состояние неопределенной грустненькой тоскливости. Мыслишки, шарившие в умственном пространстве его черепной коробки — и это было самое ужасное, томительное и последнее — шли от другого, были следствием совсем противоположного явления или, лучше сказать, феномена; гаденькое копошащееся, неразличимое в обычном Сашином состоянии суеты и повседневной озабоченности, сейчас, воспользовавшись воскресностью осеннего дня, реализовалось в мыслишки ехидненькие, подсмеивающиеся — и особе́нно гадостные, — правда, по-честному, так только поэтому и смогшие поразить его так по-подлому метко — из-за чувства его и ожидания Лили. Тут, в этом, конечно, слышались отзвуки разных вещей и событий его жизни, но главное для Ломова уже прояснялось в некотором отдалении, он уже чувствовал теплоту открытия, и оно — открытие — коренилось в Лиле и высоте ее. И то, что он оказался не на уровне, совсем в другом измерении, в другой плоскости, поразило его и потрясло.

И тогда Ломов уцепился за себя и стал утверждать главное свое знание, которое, наверное, тоже было неправдой, неполной правдой о нем — Ломове, но он хотел этого главного и не мог без него и, возможно,

очень возможно, сознательно, то есть не то чтобы с полным сознанием, но так, как бы шел на обман, ибо без этого уже совсем было нельзя — и это главное, самое важное в нем и в его жизни было уже не подвластно времени, было самостоятельно в отношении его личного, частного существования и жизни близких и отдаленно известных ему людей, да и от него самого это главное было застраховано, ибо оно было гораздо выше и гораздо важнее лично его самого. Это главное — простое, как азбука, и важное, как она — эта азбука — заключалось, оформлялось в одну мысль, что, его, Ломова, сломать нельзя. Ну что они могут с ним сделать? Убить? Ну да, и даже не как бы или будто, понарошку, мол, игра, играем, распределили роли, и у Ломова уж такая — быть убитым — роль, — по-настоящему, насовсем, могут, но и это было не страшно и не обидно, потому что он все равно оставался Ломовым и знал, что когда уж и душа кончится — вытряхнут ее — душу, то ведь просто два Ломова тогда — Ломов — тело и Ломов — душа — будут, двое вместо одного.

От всех этих мыслей, от их различности и неполноты у Саши в теле появилось какое-то недомогание, дрожание болезненное, и теперь он шел вдоль канала как-то вприпрыжку, дрыгая телом, неловко, ноги сворачивались, разъезжались, получалась нелепица и неудобство, и хотя оно было внешнее и неважное поэтому, да и вообще было не до того, но поскольку вызвано оно — это неудобство — вызвано было внутренним неполноценным и анархическим его состоянием, то и оно — это внешнее, неважное проявление его личности — оказывалось сейчас важным и полным значения. Какая-то новая мысль толкнулась у него в голове, дернулась разок-другой, уже

непроизвольная, уже сама по себе — и это мыслительное дуновение — тут нужно сразу сказать, прямо — противоречило прежнему ходу его умствований, прошлым недавним порывам — эта последняя ясненькая его мыслишка — и была она та, что внутри-то у него то же дерганье, дрыганье то же, припрыжка.

Он сразу как-то весь споткнулся и обмяк от этой последней и казавшейся теперь ему самой верной своей мысли. Не в том было дело, что кто-то там не любил его, и даже не в том, что он кого-то любил, то есть дело было и в этом, — и от этого тоже зависела прочность его жизни, и счастье, которое могло бы быть ей присуще, пряталось где-то там в неопределенном «люблю — не люблю», — и все-таки это, наверное, было важно лишь по самому последнему, конечно, самому большому и важному, но последнему счету, а до него еще было далеко, еще можно было потерпеть, побыть в ожидании, в привычной неопределенности своей жизни. И поэтому это — его отношение и новое качество — было придумано им нарочно, умышленно придвинуто к самой его жизни, в близости самой ее, а раз так, а это было именно так, — то припрыжка и только, дрыганье одно, умственное притоптыванье. И страданье его было так — страданьице. Только не думайте, нет, уж этого-то никак не думайте, не следует думать, будто от лжи, неправды такое вот происходило. Шло это совсем от другого, от малости его, от незначительности, где уж этому Ломову, под силу ли ему любовь и прочие штуки. Когда в нем внутри все было опрокинуто и он сам был весь навзничь.

Ломов миновал деревянные скособоченные мостки. В Пряжку было отлито немного густой подслеповатенькой жидкости, которая не двигалась, а грязненько стыла,

казалось, стынет, и от стылости этой, и неподвижности серых стен по правую его руку в Ломова проникло темненькое ощущеньице своей одинокости и рядом с этим, близко, вплотную коротенькой побежечкой влезла и мыслишка о нелепице того факта, лучше, пожалуй, сказать явления, что вот он разбор какой-то себе учинил, все вверх тормашками поставил, перекрутил, а что дальше, дальше-то что — не знает.

Улица Александра Блока, Мясная, Кривцов переулок. Улицы быстренько уступали место пугливеньким переулочкам и тупичкам. В этой сумятице городского ландшафта Ломова вдруг с унизительной для всего существа его силой прихватило отчаяние. Сухонький ветерок воровато дунул из-за угла, притопнул, стукнул Ломова по плечу. Осень, середина дня, начало следующего часа после трех. Все было невсамделишное, понарошку, будто.

А может, показалось, привиделось, нервность какая приключилась. Или просто осень, Ломов, — скорее всего, чего проще, — такая уж нынче осень, сухая она больно, длится, тянется и конца ей нет. Листок каждый отдельно, веточка самая малая независимо существует, все врозь самостоятельно. Так все невесомо вокруг, приметно, такая дальность открылась, простор такой, в любую сторону смотри, а все далеконько видно, дальше обычного. А главное — все подтянулось как-то, не новое, нет, боже упаси, не блестит вовсе, прежним осталось, но только другое какое-то, будто возникло что-то в окружающем земном веществе, идея что ли, себя осознание.

И уж если вещь без души, — совсем неживая, — вещь, вещица, а такое вдруг может вызвать, так поразить, силу в себе такую нести! Или это он сам — возвысился,

переполнен, болен через край — только бы не расплескать, чтоб не кончалось, чтоб всегда, без после, без потом, без завтра — эта самая жизнь, которую хотел, и не мог — вот теперь — она. Герой ты мой, горе-герой, горе, смех один.

Повсюду было небо — синее, дальнее — для него — Ломова — одного, совсем в отдельности, частненького лица, и недолго теперь отважиться на самого, на себя, на последнего себя, как есть.

Было пусто, такое ощущение — пусто, безлюдно, и все — ожидание, вот сейчас, предчувствие — оно.

январь 1968 г.